

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

РУССКАЯ КЛАССИКА

Сборник статей
к 85-летию со дня рождения
и 60-летию научной деятельности
члена-корреспондента РАН
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СКАТОВА

Редакторы-составители
Андрей Дмитриев и Юрий Прозоров



Санкт-Петербург
2017

УДК 002.5(09)(470-20-89)
ББК Ч612.3-52 Л98
Р89

Рецензенты:

доктор филологических наук *Д. М. Буланин* (ИРЛИ РАН),
доктор филологических наук *Н. Г. Михновец* (РГПУ им. А. И. Герцена)

Редакционная коллегия:

Е. И. Анненкова, В. Е. Багно, В. Е. Ветловская, А. П. Дмитриев,
Н. И. Коваленко, Н. Д. Кочеткова, Ю. В. Лебедев, Ю. М. Прозоров,
Т. С. Царькова, С. М. Шаврыгин

Р89 Русская классика: Сборник статей к 85-летию со дня рождения и 60-летию научной деятельности члена-корреспондента РАН Николая Николаевича Скатова / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; Ред.-сост. А. П. Дмитриев и Ю. М. Прозоров. — СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2017. — 664 с.: илл.

Издание посвящается 85-летию выдающегося российского литературоведа и организатора науки, многолетнего директора Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН Николая Николаевича Скатова и 60-летию его научной деятельности. В книге представлены статьи и очерки коллег и учеников юбиляра, тематически соотнесенные с кругом его научных интересов, который вмещает в себя самые разные явления и процессы из истории русской литературы от Жуковского и Пушкина до Ахматовой и Твардовского. Целый ряд вошедших в сборник работ является своеобразным продолжением трудов Н. Н. Скатова, ориентируется на них как на необходимую для сегодняшней филологии научную традицию. Книга включает в свой состав вступительный очерк научной деятельности ученого, а также завершающую ее библиографию книг, статей и других печатных работ Н. Н. Скатова.

ISBN 978-5-94668-242-8



© Коллектив авторов, статьи, 2017
© ООО «Издательство “Росток”», 2017

ных ценностей, абсолютная ценность, вечная альтернатива тяжелой, убогой и абсурдной в своем повседневном течении жизни. Грубиян и ненавистник рода человеческого, жестокий по отношению к своей жене и более слабым, забывший все на свете, кроме подсчетов прибыли и убытков, провинциальный гробовщик Яков Иванов по прозвищу Бронза оказался богат, как Ротшильд. Наследство, оставленное им городу, невозможно оценить — оно бесценно и вечно. Оно объединяет людей в общем переживании через коллективный плач о несостоятельности жизни. Проживший неистинную жизнь, герой не просто преодолел фазу перерождения, но остался жить в своей мелодии, поправ смертью смерть и абсурдность человеческого бытия.

А. М. Любомудров

(Санкт-Петербург)

ВЕЧНОЕ И ПРЕХОДЯЩЕЕ В ХРИСТИАНСКОМ СОЗНАНИИ

(«Река времен» Б. Зайцева и «Архиерей» А. Чехова)

Образы православного монашества занимают одно из главных мест в художественном мире Бориса Зайцева. Речь идет не только о книгах «монастырской» тематики, таких как «Преподобный Сергей Радонежский», «Афон» или «Валаам». В романе «Дом в Пасси» главным действующим лицом является монах Мельхиседек, которому переданы автором свои взгляды на мир и человека, рассуждения о смысле страданий, времени и вечности. Самого Зайцева недаром назвали «иноком» в литературе: темы смирения и доверия Творцу, создавшему жизнь, — лейтмотивы его прозы.

Закономерно, что последним художественным произведением писателя стало повествование о монахах — рассказ «Река времен» (1964). Он отмечен художественным совершенством, отточенностью стиля. Этот рассказ, по мнению критики, «высшая точка художественно-духовного восхождения писателя» и входит в число «лучших десяти рассказов за последние сто лет».¹

Темы вечности, смерти и бессмертия, тайны перехода в иной мир — самые устойчивые в семидесятилетней творческой биографии художника. И сокровенная мысль автора, высказанная устами

¹ Грибановский П. В. Борис Константинович Зайцев // Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972. С. 138.

героини рассказа «Актриса» в 1911 году: «Да, поглотит всех вечность, но жив Бог, и его мы несем сквозь жизнь, как и те дальние светила»² спустя полвека вновь звучит в «Реке времен», его художественном завещании.

Настроение рассказа — типично зайцевская светлая печаль, он овеян грустью прощания, ухода в Вечность, в мир *иной*, куда и отбывают его герои — *иноки*. Зайцев использует свой излюбленный прием: настоящее длящееся время в экспозиции повествования, затем прошедшее длящееся в зачинах главок: «С улицы течет ввысь тропинка-лесенка, а вокруг разрослись каштаны, вечно переливается листва их, тени пробегают по земле, зеленоватый полумрак, зеленая мурава по склону, так до самой церкви» (7, 301). Возникает картина величественного и тихого, исполненного покоя и тишины монастыря. Обитель вновь связывается с образом «рая», небесного царства, отделенного от мира оградой, за которой жизнь длится как бы уже вне времени.

Неспешный, спокойный, как церковный благовест, ритм, ровное движение текста прекрасно передают именно монастырское бытие с его размеренностью, кругом чередующихся и возвращающихся празднеств, чредой богослужений: «Дни раннего лета плыли как облака, тихо и незаметно. Каштаны как всегда осеняли горку Святого... <...> В храме шли служения, хор студентов пел древние распевы, небогатый колокол однообразно вызванивал, что полагается» (7, 304). Атмосфера этого бытия исполнена смирения, скромности и любви. Ритм воцерковленной жизни подчеркнут композиционно: повествование разделено на небольшие главки, каждая из которых имеет свой «календарный» зачин: ранняя весна, Пасхальные дни, раннее лето, приближение осени: «Лето подвигалось дальше. Каштаны зеленели вокруг Андроника, но стали появляться листья и корицневатые, сухие, скромно кружась, падали на землю» (7, 308). Эта череда символизирует земную жизнь человека. Тихое движение отжившего листа к земле — образ кончины, которую один из персонажей чаёт встретить «в тишине, покорности».

Зайцев рисует два монашеских типа, у каждого из которых свои достоинства и свои немощи. Архимандрит Савватий — человек неколебимой и простой веры. Он монах «кондовый, коренной», из народа, всегда бодр и весел, бесхитростно мечтает о епископской митре. Архимандрит Андроник интеллигентен, у него душа ученого и художника, тонко чувствующего поэзию мира (и характер, и дета-

² Зайцев Б. К. Собр. соч.: [В 11 т.]. М., 1999. Т. 1. С. 241. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страниц.

ли внешности Андроника схожи с портретом духовника Б. Зайцева архимандрита Киприана Керна в посвященном ему зайцевском очерке). Монашеский подвиг дается ему с трудом: он молод, испытывает приступы тоски и уныния, мучается неразрешенными вопросами бытия, разбирается в своей «запутанной душе»... Автору, пожалуй, ближе этот «христофоровский» (по имени персонажа «Голубой звезды») тип отрешенного от земли мечтателя, любящего звездное небо, чувствующего вечность.

Сугубо мирские разговоры друзей-иноков о кофе, о митре, о присланном артосе не скрывают, однако, главного: в них есть живая вера и упование на Господа. В то же время это не некие идиллические, несколько абстрактные «облики простоты и приветливости», как зачастую Зайцев определял встреченных на Афоне монахов. Это совершенно реальные, можно сказать, обычные, монахи, у каждого из них есть свои слабости, свои не до конца преодоленные пристрастия, с которыми они ведут, более или менее успешно, духовную борьбу. Они видят немощи друг друга и, по евангельскому завету, «носят» их (Андроника, например, раздражает мелочность вопросов, которые задает на исповеди о. Савватий), молятся друг за друга, в их сердцах глубоко укоренилась христианская любовь. В чем-то она сродни такой же тихой и неколебимой любви гоголевских «Старосветских помещиков»: «Хорошо ли почивали, дорогой отец архимандрит?»... — «Вашими молитвами, Владыко. Пока жив. Только сон неважный» (7, 302).

Но все-таки главным критерием приобщения человека к Божественной реальности в рассказе является степень смирения. Его не достигли ни Савватий, энергично добивающийся епископства, ни Андроник с его внутренними надломами. Подлинно смиренным оказывается монастырский привратник, даже не имеющий монашеского сана. Потерявший все — жену, детей, родину, живущий тихо и незаметно в домике, на стене которого икона «смиренного Преподобного» (Сергия Радонежского), он избран Богом, чтобы войти в такую меру смирения, которая недоступна даже соседям-монахам. Именно он напоминает унывающему Андронику слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите» и, в отличие от собеседника, не дерзает полагать, когда и кто отойдет прежде в мир иной: «Кому какой конец назначен и когда — воля Божия. А наше дело — жить, кто как умеет» (7, 315).

Несомненно, при создании рассказа перед взором Зайцева стоял чеховский «Архиерей». Высокую оценку этого рассказа Зайцев оставил в своей книге «Чехов» (1954). В «Архиерее» и «Реке времен» много общего. Сюжет обоих произведений — кончина архиерея

(отец Савватий скончался вскоре после того, как получил епископский сан; но рефлексия о жизни и смерти в рассказе Зайцева передана другому герою, о Андронику). Сближает их и то, что тема ухода решается как общечеловеческая, сан героев в обоих рассказах не играет определяющей роли. И у персонажей Зайцева рассказа, и у героя Чехова — «тихий, скромный нрав». И здесь, и там размышления о смерти и вечности разворачиваются на фоне картин радостного Божьего мира, светлого мироздания: «Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, Бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо».³

Однако различия двух произведений не менее существенны.

В «Архиерее» звучит тема одиночества и сиротства человека в мире, в чем-то предвосхищающая повести А. Платонова. Душа владыки Петра тоскует, тяготится мирской суетой. Парадоксально, что архиерей мучительно ищет Бога, но не может Его обрести. Если внимательно читать текст, то назвать героя православным верующим нельзя. Чехов рисует тип «христиан», для которых вера всецело превратилась в традицию, но перестала быть живым переживанием Бога.

Детская, наивная вера о. Петра со вступлением его в зрелый возраст не укрепились, обогатившись опытом и разумом, но постепенно истаяла во внешних попечениях. Форма полностью отделяет человека от живого христианского чувства, — это замечательно передано Чеховым в самоощущении архиерея во время службы на Страстной Четверг. Более того, в рассказе заметны элементы типизации такого внутреннего устройства души: это и безымянный епархиальный архиерей (который «не думал о Боге»), и иеромонах Сисой — малопривлекательный тип с сердитыми глазами, который «всегда недоволен чем-нибудь», в частности, ему «не ндравится» в монастыре, но самое удивительное, что «ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом».⁴

Можно сопоставить и эпизодические фигуры правящих владык, в которых отражаются некоторые черты главных персонажей: не названный по имени митрополит (или епископ) у Чехова и болящий митрополит Иоанникий у Зайцева. Если архипастырь в чеховском рассказе «весь ушел в мелочи, все позабыл», то в зайцевском — «жизни высокоаскетической, веры незыблемой. И незыблемой доброты». Характерны эпитеты: у Чехова он «очень полный», у Зайцева — «худенький... невесомо взлетал».

³ Чехов А. П. Архиерей // Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 8. С. 465, 467.

⁴ Там же. С. 464, 470.

Примечательна полемика по поводу чеховской новеллы, возникшая между Зайцевым и архиеп. Иоанном (Шаховским). Зайцев не мог «предать» эстетику ради идеологии, поэтому никогда не был строг в собственно религиозных оценках произведений искусства, хотя в личной жизни был последовательно православным. В каждом явлении изящной словесности он видел отсветы, сияния высшего начала. Понятно, что и чеховский рассказ он ставит очень высоко, интерпретируя его как свидетельство «несознанной просветленности». «В “Архиерее” ровное, неземное озарение разлито с первых же страниц повествования» (5, 453), — утверждает он в своей книге «Чехов», но не берется детально разбирать характер персонажа.

Однако с такой оценкой не согласился архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской). Его мнение интересно вдвойне: с одной стороны, он сам был поэтом, критиком, ценителем художественного творчества, с другой — имел архиерейский сан и мог судить о служении архипастыря не понаслышке. Познакомившись с книгой Зайцева о Чехове, он написал автору:

«“Архиерей” сделан как-то *огень* для меня *гуждо*. Ни одной черточки нет в нем близкой, в строе его переживаний... Это, конечно, не “старец” Толстого, не “Отец Сергей”; но в чем-то подобен ему. *Прямого опыта религиозного не раскрывается в нем*. Он весь в плане “психологическом”, “душевном”. И неудача рассказа в том именно, что хороший человек выведен. Будь он не “положителен”, как тип, была бы более оправдана его религиозная бесхребетность духовная, безжизненность» (7, 431).

Внутренние душевные движения о. Андроника на первый взгляд напоминают переживания чеховского героя. Он постоянно размышляет, «как все сложно, запутано и двойственно в человеке». Его одолевают приступы уныния, избавления от которого он так же ищет в том, чтобы «стать бы детским, бездумным, ясным». Ему знакомы приступы тоски, ощущение горестности этого мира. Он, однако, осознает такие приступы именно как «минуты Богооставленности» — и здесь пролегает водораздел: ведь герой Чехова просто *не думает о Боге*, не вспоминает о Нем и на смертном ложе.⁵ Зайцев запечатлевает не только *душевные*, но и *духовные* доминанты. «О многим запутанной душе своей» Андроник *молится*, ища ответа и выхода у Бога. Страдая от физических болей, нравственных переживаний,

⁵ З. П. Ермакова приходит к выводу, что герой рассказа — христианин только внешне, он не исполняет главную Евангельскую заповедь о любви к ближнему (см.: Хроники международных научных конференций «Православие и русская культура» (1994–2003) // Христианство и литература. СПб., 2006. Вып. 5. С. 656).

он засыпает все же с молитвой на устах: «К Иисусовой молитве, многократной, прибегал нередко, особенно когда бывало плохо. Тогда как бы отходила действительность, окружающее... погружался он в стихию иную» (7, 314). Но ведь в этом приобщении к иному и состоит подвиг иночества. Монашество дается ему «тяжко», но подлинное монашество и не может быть легким, и Зайцев говорит об этой духовной борьбе в душе о. Андроника.

Отцу Андронику чем-то показались близки стихи Державина о «реке времен», что «уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья», о жерле вечности, пожирающем все на земле. Во многом родственны они и исполненным пронзительной безысходности финальным строкам чеховского «Архиерея», где говорится, что через месяц «о пресвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли».⁶

Но в повествовании Зайцева подобные мысли посещают человека в состоянии томленья духа, в «тяжкую минуту». Им противопоставлена христианская убежденность: «Написано знатно, дорогой авва, но не христианского духа. Господь больше и выше этого жерла. У Него ничто не пропадает. Все достойное живет в вечности этой». Эти слова произносит о. Савватий, дотрагиваясь до креста, от которого исходит «спокойная, непобедимая сила» (7, 307). И о. Андроник соглашается с ним.

Завершается рассказ тоже образом вечности, но символом ее становится уже не вечно-зеленеющая листва, а солнечные лучи восхода, золотящие комнату, где над отошедшим в мир иной читается Вечная книга, заключающая Истину приносящую — Евангелие.

⁶ Чехов А. П. Архиерей. С. 472.

В. Н. Быстров

(Санкт-Петербург)

«КАКОЙ-ТО НОВЫЙ МИР МЕРЕЩИЛСЯ ВДАЛИ...»

(Идея обновления мира в творчестве русских символистов)

Почти для всех русских символистов идея радикального пересоздания мира была чрезвычайно важной. Символисты могли каждый по-своему понимать эту идею и воплощать ее в жизнь, которая для них нередко выступала как инобытие. Постигание реальности